

# ВСТРЕЧИ С ПРОШЛЫМ

---

Выпуск 7

---



МОСКВА  
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»  
1990

ГЛАВНОЕ АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПРИ СОВЕТЕ МИНИСТРОВ СССР

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ  
ЦЕНТРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА  
ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА СССР

Выпуск 7

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

И. Л. Андронников

Н. Б. Волкова (ответственный редактор)  
И. И. Аброскина  
К. Н. Киряленко  
И. П. Сиротинская  
С. В. Шумихин

АВТОРЫ ПУБЛИКАЦИЙ, СООБЩЕНИЙ, ОБЗОРОВ:

*И. И. Аброскина, Е. М. Бень, И. Э. Бердан, С. Г. Блинов,  
Е. В. Бронникова, Н. Б. Волкова, С. Д. Воронин,  
Е. И. Горская, А. Д. Зайцев, К. Н. Кириленко,  
Н. А. Коробова, Е. Б. Коркина, Н. Г. Королева,  
М. В. Криштофова, А. В. Маньковский, А. К. Пушкин,  
М. А. Рашковская, Л. Л. Родионов, И. П. Сиротинская,  
Н. В. Снытко, Д. М. Фельдман, С. В. Шумихин*

В ПОДГОТОВКЕ ХРОНИКИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ:

*О. Л. Андрианова, С. Г. Блинов, К. Н. Кириленко,  
С. Ю. Митурич, И. П. Сиротинская, С. В. Шумихин*

ПЕРЕВОДЫ ИНОЯЗЫЧНЫХ ТЕКСТОВ:

*Н. В. Снытко*

ПРОВЕРКА И СВЕРКА ПУБЛИКУЕМЫХ ТЕКСТОВ,  
ОБЩАЯ УНИФИКАЦИЯ:

*К. В. Айдарова, С. Г. Блинов, А. В. Маньковский*

ПОДБОР ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА  
И СОСТАВЛЕНИЕ ИМЕННОГО УКАЗАТЕЛЯ:

*Е. В. Бронникова*

Художник А. В. Денисов

## ДВЕ СУДЬБЫ

(Б. Л. Пастернак и С. Н. Дурылин. Переписка)

Публикация М. А. Рашковской

История дружбы и творческого общения Бориса Леонидовича Пастернака и Сергея Николаевича Дурылина представляет интерес не только как часть биографии поэта, но и как страница истории русской культуры первой половины XX века.

Напомним основные вехи жизни С. Н. Дурылина, даровитого русского писателя и ученого. Он родился в 1886 году, в состоятельной семье. В раннем детстве лишился отца, после смерти которого семья осталась почти без всяких средств. Сергею Николаевичу пришлось рано начать зарабатывать на жизнь, в основном уроками. Возможно, чтобы успешнее заниматься этим, он прибавил себе возраст и по официальным документам стал старше на 9 лет.

Человек глубоких интеллектуальных и духовных запросов, Дурылин прошел чуть ли не через все увлечения своих современников. Воспитанный глубоко верующей матерью, в ранней юности он разделял нигилизм своих сверстников, затем увлекся толстовством, работал в издательстве «Посредник» и в журнале «Свободное воспитание». Рано начал писать стихи и прозу. Печатался под псевдонимом «С. Раевский». Первая печатная работа в духе толстовских идей — «В школьной тюрьме» — вышла в 1906 году.

Затем Дурылин сближается с поэтом Эллисом, музыковедом и критиком Эмилием Карловичем Метнером (братом композитора Николая Метнера), сотрудничает в издательстве «Мусагет», в журнале «Труды и дни», работает в молодежных околосимволистских кружках Андрея Белого и скульптора Константина Крахта. Разочаровавшись в характерных для некоторой части околосимволистской среды оккультистских идеях, Дурылин приходит к православию и становится священником. В середине 20-х годов он потерял возможность священнослужения, дважды арестовывался и высылался (в Челябинск, затем в Томск и Киржач). Но даже в столь неблагоприятных условиях он находил в себе силы для интенсивных занятий историей мировой и русской культуры. Область его интересов чрезвычайно широка. Он автор работ о Гете, Гоголе, Гаршине, Репине, Нестерове, статей по археологии и этнографии Русского Севера. Последние 20 лет жизни Дурылин больше всего занимался театро-

ведческими и историко-театральными исследованиями. Они признаны и общеизвестны.

Пастернака познакомил с Дурылиным, вероятно, отец поэта, Леонид Осипович, знавший его по «Посреднику». Произошло это знакомство в 1908 году, то есть в то время, когда музыка, прощанье с которой Пастернак, по его словам, только откладывал, переплелась уже с литературой: «В то время и много спустя я смотрел на свои стихотворные опыты как на несчастную слабость и ничего хорошего от них не ждал. Был человек, С. Н. Дурылин, уже и тогда поддерживавший меня своим ободреньем. Объяснялось это его беспримерной отзывчивостью» (Охранная грамота. Ч. I, гл. 7).

Эти несколько фраз из «Охранной грамоты» Дурылин прочел в письме Веры Клавдиевны Звягинцевой, полученном им в томской ссылке в октябре 1929 года. Эти слова послужили толчком для воспоминаний о дружбе с Пастернаком. Их Дурылин записал в дневнике: «Я встретился с ним в 1908 г., когда он был еще гимназистом 5-й гимназии (вполне классической, с греческим), но уже старшего класса. И впервые Борины стихи открылись мне не как стихи [...]. Он писал мне длиннейшие письма, исполненные тоскующей мятежности, какого-то одоления несбыточностью, несказанностью, заранее объявленной невозможностью лирического исхода в мир, в бытие, в восторг, каким-то голым отчаяньем. Это бросался ему в голову лирический хмель. Вячеслав Иванов сказал бы, что он одержим Дионисом. И это было бы верно. И вот в Сокольниках, однажды, среди древних сосен он остановил меня и сказал: «Смотрите, Сережа, кит заплыл на закат и отяжелел на мели сосен...» Это было сказано про огромное, тяжелое облако. «Кит дышит, умирая на верхушках сосен...» Но через минуту, куда-то взглядевшись: «Нет, это не то». И образ за образом потекли от Бори из его души» (ф. 2980, новое поступление. В дальнейшем ссылки на этот фонд опускаются).

В архиве семьи Пастернака сохранился черновик одного из писем Пастернака к Дурылину лета 1910 года в Пирогово, где Дурылин учительствовал в семье Чернышевых (один из членов этой семьи, будущий оригинальный художник Николай Михайлович Чернышев, стал близким другом Дурылина на долгие годы). Содержание и форма сохранившегося письма Пастернака действительно близки к тому, что вспоминает Сергей Николаевич. Вот отрывки из него: «Ну, как Ваше здоровье, дорогой Сережа? Вчера я лег спать с воскресеньем над Клязьмой, у Вашего дивана, в ухабы которого падает столько чудных вещей, ритмов и даже босой

доктор Кноп; и потом представились жасминовые детки на крокете за окном, и всевозможные теории. Вот видите, я хотел повторения. Но это не выйдет, я не могу поехать к Вам [...]. Когда я шагал от Вас в Тарасовку, я и не знал, что ташу через этот грустный вечер какую-то вершу за собой. Наверное, я загреб много-много грусти по Клязьме в кустах; потом попался вывод из этих воспаленных туманом лесов — подавляющих посылок; и этот мгновенный вывод оказался встречей с белыми спорящими девушками, которых я расспрашивал с трогательным многословием об этой вечерней Тарасовке [...]. Я теперь люблю невозможности, потому что знаю, что творчество это в [корне своего возникновения?] — отрицательное и в своей цели положительное — творчество какая-то вечная пенка вокруг этого невозможного. Но это неважно. Тарасовка, Тарасовка. Вот фланелевые люди и сенбернар идут по полю, под салатистые облачка.

А за мной все та же верша, и уже тяжелая. И вдруг попало село туда, вечернее и праздничное [...]. И эта людная грусть на дороге, жилеты и целая Лета подсолнуховой шелухи, забвение и покинутые сараи и калитки. Иногда косынки и возгласы — потом снова ухаает полями вечер. И уже мускулы дрожат, потому что верша оттягивает и, наверное, в костях жужжит такое певучее утомление. При первой встрече с женственным — опять желание опрокинуть к ним весь этот путевой улов, как вывод из лирических заводов.

Все это, конечно, совсем не нужно, а есть что-то нужное (и я уже догадываюсь об этом), которое бесконечно более ново для меня и интересно, чем все эти наблюдения, которые я даже развез по стихам. Это — теория творчества, чистого творчества, кажется новая, для которой как примеры (даже сокращенные: напр.) понадобится то, чем мы питаем лирику.

Эстетическое, религиозное, эротическое (платоновски) — все это придет только «например». Как теория. Но я хочу облечь ее в жизнь. И это будет один человек, и один день, рассвет, прогулки и город, — но сильная эссенция, что-то вроде иода, окрашивающего микроскопическое; один только день и много страниц; для этого целые охапки дней будут положены под пресс, я мечтаю об этой эссенции.

Я хочу писать летом большой рассказ, мне кажется, я могу».

Об одном из таких рассказов, герой которого звался Реликвимини, вспоминает Дурылин: «Реликвимини бродил по улицам — и таял на закате и искал китов, осевших грузно на иглах сокольнических сосен. В сущности, в этих отрывках, как и теперь в повестях и рассказах, «героя» не было. Был

Боря Пастернак. И Реликвимини сливался для меня с письмами ко мне: такими же «словами» к неопределимой музыке, слышанной Борисом [...]. Помню, меня поразила тогда одна сцена в этом хаосе «Реликвимини». Реликвимини идет по Никольской. Угол Казанского собора. Весна, но он не замечает весны. Тепло и солнечно, но у него в душе не тепло и не солнечно, и может быть месячно, а может ветрено, а может быть тучно. Шумит улица, вливаясь в площадь. Реликвимини бредет, опустив голову. И вдруг — на сыром асфальте тротуара видит маленькую живую зеленую ящерицу; она извивается, шевелит хвостиком, змеится, ящерится, — и солнце перебирает лучами ее алмазы и изумруды. И Реликвимини увидел по ящерице, что весна. Он солнце увидел на ее спинке — и поднял голову: Весна!

А ящерицу пускал по тротуару на бечевке мальчишка, продавец игрушек. Ящерица была из жести и стояла гривенник».

Эта ящерица из ранних прозаических опытов Пастернака попала затем в «Белые стихи», написанные в 1918 году:

Он продавал жестяных саламандр.  
Он торговал осколками лазури,  
И ящерицы бегали, блеща,  
По яркому песку вдоль водостоков,  
И щебетали птицы. Шел народ,  
И дети разевали рты на диво.

\* \* \*

Впервые в печати стихи Пастернака появились в альманахе «Лирика» (апрель 1913 г.). Финансировали издание Юлиан Павлович Анисимов, Алексей Алексеевич Сидоров и Сергей Николаевич Дурылин. Технической стороной издания занимался, в основном, Сергей Павлович Бобров. На одном из его писем Дурылину того времени штамп «Кн-во «Лирика»». Главнейшее участие принимают Ю. П. Анисимов, С. П. Бобров, С. Н. Дурылин». Стихи Пастернака в сборник рекомендовал Дурылин. Там были напечатаны: «Я в мысль глухую о себе», «Февраль! Достать чернил и плакать...», «Сумерки... словно оруженосцы роз...», «Сегодня мы исполним грусть его...», «Как бронзовой золой жаровен...». В альбоме С. Н. Дурылина есть автограф раннего стихотворения Пастернака, впервые напечатанного в «Лирике», — «Сегодня мы исполним грусть его...». Эта запись особенно ценна тем, что под ней стоит авторская дата — «март 1911». Отбору стихотворений для «Лирики» посвящено (к сожалению, не полностью сохранившееся) письмо поэта к Дурылину от на-

чала февраля 1913 года. Речь в нем идет в основном о стихотворениях, написанных Пастернаком в Марбурге, где он летом 1912 года занимался в семинаре знаменитого главы Марбургской неокантианской философской школы Германа Когена. Он вспоминал об этом в «Охранной грамоте»: «Я ездил к сестре во Франкфурт и к своим, к тому времени приехавшим в Баварию. Ко мне наезжал брат, а потом отец. Но ничего этого я не замечал. Я основательно занялся стихописанием. Днем и ночью и когда придется я писал о море, о рассвете, о южном дожде, о каменном угле Гарца» (ч. 2, гл. 8). Большая часть упомянутых в письме стихов не раз публиковалась, но есть упоминания и о неизвестных нам сейчас — «Утро», где «кареты рельеф...» и «...жизнь неслышная».

Раскол «Лирики» и образование «Центрифуги» зимой 1914 года, с одной стороны, а с другой — возможно, усилившаяся тяга Дурылина к мистицизму и антропософии (в переписке близких в тот момент Пастернаку Боброва и Асеева много недовольных высказываний именно по этому поводу) надолго ослабили связи между Пастернаком и Дурылиным. Две военные зимы (1916—1917 гг.) Пастернак служит на Урале и в Прикамье на химических заводах. Его стихи публикуются в изданиях «Центрифуги» и в других футуристских сборниках. Дурылин оканчивает Археологический институт, ездит в этнографические экспедиции, становится священником. В его сохранившихся дневниках за 1917—1926 годы мы не встретили упоминаний о Пастернаке и общих друзьях юности.

В томской ссылке Дурылин вплотную занялся историко-литературными работами. Вдали от близких, от родного города, он много думает о прошлом, о людях, с которыми его сводила судьба. «К моей — нашей молодости я ближе теперь, чем был к ней 10 лет назад, — пишет он Пастернаку. — Я могу сказать, как Вы: я то же и никуда от себя не ушел и знаю теперь, после множества опытов и перемен, ничего во мне не переменявших, что уходить — не значит уйти» (письмо от 26 ноября 1929 г.). Переписка между ними возобновилась естественно, несмотря на чувство связанности, о котором писал Пастернак. Им было что сказать друг другу. Всего за это время мы располагаем 4 письмами Пастернака к Дурылину в Томск и Киржач 1929—1931 годов и 2 письмами Дурылина к Пастернаку 1929 года. Дурылин проникновенно пишет о присланных Пастернаком его переводах стихотворений Р.-М. Рильке «Реквием» и «По одной подруге реквием». Он связывает смысл и темы этих произведений — и оригинала, и перевода — с жизнью и автора, и переводчика, и читателей, в том числе со своей судьбой. Рассуждение

о реквиемах, пожалуй, помогает понять и внутренние побуждения, которые, кроме внешнего давления, заставили Дурылина отказаться от священнослужения:

«Есть между жизнью и большой работой старинная какая-то вражда.

Большая работа для Бытия — уходит от нас, а малая — для бывания — томит как праздный труд, как косматая кудель. И постепенно, и постоянно

...ты теряешь вечности кусок  
На вылазки сюда...

В том, чем я был совсем недавно, я постоянно испытывал это. И вижу, что и Вы, Боря, испытываете это в творчестве и во всем, что не только творите Вы, но и, что главное! — творит Вас» (письмо от 26 ноября 1929 г.).

Для Пастернака время «Охранной грамоты», прозаической «Повести», переработки для переиздания стихов ранних сборников — тоже время возврата к темам юности. Переписка с Дурылиным органически входит в круг его работ. Так, в письме 7 ноября 1929 года он развивает мысли о биографии гения, легшие в основу «Охранной грамоты». Письмо Пастернака, отправленное из Москвы 24 февраля 1930 года, интересно не только как комментарий к его переводческой деятельности, но и как свидетельство характерного для Пастернака во все времена самоотождествления с гонимыми и страдающими, чувства ответственности за все происходящее с его соотечественниками на его Родине. Поразительна по обнаженности этого чувства запись его в альбоме А. Е. Крученых под фотографией друга поэтической юности Н. Н. Асеева 13 декабря 1932 года: «Он так много сделал для меня, что может быть даже меня и создал, — и теперь с основаньем в этом раскаивается. Как же сожалею обо всем этом я сам! Но все это совершенные пустяки в наше время нескольких сытых (в том числе и меня) среди поголовного голода. Перед этим стыдом все бледнеет. Оттенков за этим контрастом я уже не вижу, а Коля их различает» (ЦГАЛИ, ф. 379, оп. 2, ед. хр. 49). Сохранилось извещение о денежном переводе, который Пастернак отправил другу вслед за письмом 15 марта 1930 года:

«Дорогой Сережа!

От В[еры] К[л]авдиевны узнал, что Вы нездоровы. От души желаю Вам скорейшей поправки. Мне страшно стыдно, что я развожу такую канитель и что это так ничтожно. Простите.  
Ваш Б.»

В 1931 году Пастернак с писательской бригадой ездил на строительство Магнитки. Письмо 28 мая 1931 года (публикуется ниже под № 7) написано как раз перед отъездом на Урал.

В 1933 году Дурылин возвратился в Москву. С 1934 года — он член Союза советских писателей. В его архиве сохранилась записка Пастернака, вероятно, имеющая отношение к приему Дурылина в союз: «Горячо поддерживаю ходатайство, как свидетель этой деятельности, в начале испытанный на себе непосредственную ее пользу. Уверен, что С. Н. Дурылина надо перечислить из кандидатов в действительные члены.

Привет, товарищи.

Б. Пастернак.

Обязательно переведите».

\* \* \*

Судя по материалам архива, следующий период дружеского и делового общения Пастернака и Дурылина — середина 1940-х годов. Поводом для оживленного обмена письмами в это время послужила просьба Пастернака к Дурылину быть редактором и автором предисловия к его сборнику шекспировских переводов, предполагавшемуся в Гослитиздате. Кроме того, он просил Дурылина написать статью для «Литературной газеты» о его последнем сборнике «Земной простор».

То, что поэт обратился с просьбой о рецензии и предисловии именно к Дурылину, стоящему в стороне и от современной авторитетной литературной критики, и от специальных шекспироведческих штудий, — симптоматично. «Я совершенно отрицаю современные переводческие воззрения. Работы Лозинского, Радловой, Маршака и Чуковского далеки мне и кажутся искусственными, — писал он в 1943 году редактору А. О. Наумовой. — Я стою на точке зрения прошлого столетия, когда в переводе видели задачу литературную, по высоте понимания не оставлявшую места увлечениям языковедческим» (Мастерство перевода. Сб. 6. М., 1970). Стремление сделать переводимое произведение живым фактом современной русской литературы лежало в основе полемики Пастернака с известным шекспироведом М. М. Морозовым, отголоски которой слышны в его письмах к Дурылину. Интересно и его признание о влиянии толстовской критики Шекспира на принципы его переводов, предопределившем их «реалистическую, упрощающую тенденцию».

Письма лета 1945 года (публикуются ниже под № 9—15) относятся к тому времени, о котором Пастернак писал в эпилоге «Доктора Живаго»: «Хотя просветление и освобождение, которых ждали после войны, не наступили вместе с победой, как думали, но все равно, предвестие свободы носилось в воздухе все послевоенные годы, составляя их единственное историческое содержание». Это особое время не только общенародной жизни, но и жизни самого Пастернака; время особого внутреннего подъема и самососредоточения и вместе с тем обостренного неприятия конформизма официальных литературных кругов. Для Пастернака было радостным открытием, что он нужен своим соотечественникам, нужен людям, прошедшим через опыт и страдания освободительной войны. Как раз в это время с неожиданным для поэта успехом прошли его публичные выступления в МГУ, а затем в Доме писателя и Политехническом музее. Об этом успехе Пастернак пишет другу.

Радостно было и то, что к его творчеству тянутся лучшие представители зарубежной культуры. Не случайно в письме 29 июня 1945 года упоминается имя английского поэта и философа Херберта Рида. Согласно идеям Рида, смысл искусства заключается не только в выявлении подспудных и бессознательных сил человеческой души, но и в просветлении этих сил работой человеческого самосознания и правдоискания.

После войны Пастернак приступил к работе над романом «Доктор Живаго». О начале работы над ним он сообщил Дурылину 27 января 1946 года. Лестное для адресата утверждение, что Дурылин входит в число тех немногих, для кого он пишет свою новую вещь, не было простой любезностью со стороны автора. Пастернак знал, что в Дурылине он найдет не только высокопрофессионального, но и по-настоящему заинтересованного читателя. Известные суждения Дурылина о работах Пастернака отличаются глубиной проникновения в замысел автора и особой теплотой и неординарностью взгляда на его творчество. В этом плане интересно письмо Дурылина Пастернаку по поводу статьи о Шопене и стихотворения «Памяти Марины Цветаевой». Дурылин пишет о реализме в искусстве, о реализме подлинном и мнимом. Он использует формулу Вяч. Иванова «*A realibus ad realiora*» (От реального к реальнейшему) из его статьи «Два течения в современном символизме». Дурылин говорит о своем понимании реализма, требующем от каждого произведения искусства внутреннего события. Подлинное искусство стремится к «реальнейшему», к бесконечности, к бессмертию, в отличие от

рассудочного, преследующего сиюминутные цели, того, что, как говорит Дурылин, Верлен называл «литературой». (Напомним строки из «Искусства поэзии» Верлена в переводе Пастернака:

Так музыки же вновь и вновь!  
Пушай в твоём стихе с разгону  
Блеснут в дали преображенной  
Другое небо и любовь.

Пушай он выболтаёт сдуру  
Все, что впотьмах, чудотворя,  
Наворожит ему заря...  
Все прочее — литература.)

Утверждение Дурылина перекликается с высказыванием Пастернака о задачах, которые он ставил перед собой во время работы над стихами: «Моя постоянная забота обращена была на содержание, моей постоянной мечтою было, чтобы само стихотворение нечто содержало, чтобы оно содержало новую мысль или новую картину» (Люди и положение. Перед первой мировой войною, гл. 2).

В конце лета 1945 года Дурылин написал статью о творчестве Пастернака под названием «Земной простор». Она была посвящена и переводам, и последним стихам поэта. Проанализировав шекспировские переводы Пастернака, Дурылин показал внутреннее единство Пастернака — переводчика и оригинального поэта: «Пастернак обладает превосходным филологическим и философским образованием, но встречается он с Шекспиром не как стихотворец, сгибающийся под филологическим грузом, а как поэт, подающий руку поэту, чтобы перевести его через «реку времен», на прекрасный берег другой культуры, другого, но дружественного языка [...]. Метод его перевода до очевидности прост и до недоступности труден для других переводчиков: у переводчика душа стесняется тем же волнением бытия, каким она стеснилась некогда у поэта Офелии и Джульетты [...]. Это — не перевод, это — перетворение, это новое произрастание из старого зерна, перенесенного в новую почву». Этот текст Дурылина поражает точным смысловым совпадением с пассажем из статьи молодого Пастернака «Несколько положений» об английской поэзии и ее переводах, о том, что разные языковые стихии, разные эпохи объемлются «единством и тождественностью жизни».

Вторая половина статьи Дурылина посвящена стихам «Земного простора». «Никто, никогда не мог продиктовать Пастернаку ни строки — ни люди, ни события, ни идеи —

всегда его стихи были свободным «вздохом-выдохом», — утверждает автор. Для него Пастернак — прямой наследник Тютчева и Фета: «Надо было миновать много путей и перепутий, надо было побороть много застав, на которых поэты задерживаются соблазнами словесных потех и «изысков», чтобы обрести ту теплую зоркость к родной природе, ту ласковую внимательность взора, которая ощущается во всем, что открывает Пастернак в русской природе». Дурылин пишет о радостном приятии поэтом и родной природы, и соотечественника в его «трудах и днях», в его повседневности, в дни забот, думе и мечте. В стихах о войне он видит суровую сдержанность, целомудренность пастернаковской музыки. Речь поэта лишена малейшей приукрашенности и риторики.

Статья Дурылина не увидела света. С осени 1946 года, после печально известного августовского постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград», в печати начали появляться выпады и против Пастернака, в частности со стороны Фадеева и Суркова. Возможность добросовестного анализа творчества поэта в печати была надолго закрыта. Дурылин же продолжал оставаться в курсе работ своего друга. Он получал от поэта рукописи его стихов и статей, первые части романа. В архиве семьи Пастернака сохранилось письмо Дурылина с содержательным отзывом о первой части «Доктора Живаго». Ответом на него служит письмо Бориса Леонидовича 23 февраля 1952 года (публикуется ниже под № 22). Полного текста романа Дурылин не увидел. Он умер 14 декабря 1954 года.

Дружба и знакомство Пастернака и Дурылина продолжались 46 лет. Из них наиболее интенсивное общение занимает приблизительно 17 лет — 1908—1914, 1929—1931, 1944—1953 годы. Их переписка — свидетельство пересечения двух неординарных человеческих судеб — замечательного ученого-гуманитария Сергея Дурылина и великого поэта Бориса Пастернака. Документы свидетельствуют об аналитической тонкости и зоркости дурылинского взгляда на искусство, о характере художнического самосознания Пастернака.

Во всем мне хочется дойти  
До самой сути.  
В работе, в поисках пути,  
В сердечной смуте.

Такова одна из лучших поэтических самооценок Пастернака. Его жизнь — постоянное становление, постоянная динамика исканий сокровенной «сути» бытия, истории, слова, поэзии и места поэта на земле.

Настоящая публикация основана на материалах фонда С. Н. Дурылина, которые на протяжении последних лет поступают в ЦГАЛИ СССР (ф. 2980, новое поступление). Письма Пастернака печатаются по беловикам, письма Дурылина по сохранившимся в фонде черновикам. Письмо Дурылина 1 ноября 1929 года печатается по авторской копии в его дневнике. При отсутствии авторской даты письма датировались по почтовым штемпелям или исходя из содержания.

В конце публикации помещены два письма Б. Л. Пастернака к вдове С. Н. Дурылина — Ирине Алексеевне Комиссаровой-Дурылиной. Они интересны и емкой, содержательной и благодарной характеристикой покойного друга, и некоторыми сведениями об обстоятельствах жизни поэта в его последние годы.

## 1

## Пастернак — Дурылину

Начало февраля 1913 г. Москва

...лежит во мне. Никто не говорит, и всего менее я сам, чтобы эта особность была счастливою моею чертой. Гораздо вероятнее то, что она приведет меня к дилетантскому прозябанию среднего порядка. Правда это или нет, — но в настоящую минуту я хотел бы только поскорее освободиться от университета и воинской повинности — чтобы работать потом, работать впервые полно, серьезно и по-своему. И конечно, эти желанья ничуть и ни в чем не зависят от того или другого исхода моих недавних маленьких выступлений. Если я спрашивал и спрашиваю о согласии Метнера, — то не потому, что полагаю свою судьбу в этом. Недостатки же свои я и сам очень сознаю, и мне больно, когда близкие хотят сыграть в их мнимое отсутствие. Я бы и сам обратился к Эмилию Карловичу, да это, кажется, не принято. Вы не встречаетесь с ним? Вы прочтете все это, и от вас, может быть, ускользнет главное: простая моя благодарность за вашу заботливость относительно меня. Если же вы ее отыщете, то вы услышите в ней признательность и за то, что в вас осталась нетронутую верность тому миру и времени, которые свели нас.

Может быть, все это патетично. Не знаю. Все это печально, во всяком случае.

Что мне выбрать из Марбургского хлама? Я согласен с

«...жизнью неслышной»; она относится к небольшому циклу, носящему [заглавие] «Покой песков». Пусть это обозначение перейдет к стихотворению.

«Февраль» тоже близок мне, «там, над чернилами, навзрыд» — поправка, которую я охотно принимаю; в таком случае не надо точки после «изрыт»:

доколе песнь не заснует  
там, над чернилами, навзрыд.

«Сегодня мы исполним...» тоже можно печатать, хоть оно слишком элементарно и беспомощно до степени лепета в нескольких местах. Обработка стихов, ставших уже прошлым, как-то неприятна и не дается вообще. Но я не согласен с «Дождем» и «Глухою мыслью о себе», где я для устранения хореймба поставил бы:

И это — смерть; застыть в судьбе  
Судьбе — формовщика повязке.

Не заменить ли этих двух стихотворением, кот [орое] начинается: «Как бронзовой золой жаровень» и т. д. или «Розами» (где «сумерки»), или «Утром», где «Кареты рель [еф?]». Вообще, я против «Мысли о себе» ввиду ее сухости и против «Дождя» ввиду того, что в последнем стихотворении не сохранился тот живой и непосредственный образ сплошного, стершегося безземелья, которое свелось только к дару песен, сумеречных песен без слов, который вызвал во мне один неизлечимый, трехдневный дождь в Марбурге и которому я посвятил стихотворение. Что он не выдержан в стихотворении, лишенном без этого всякой цены, — ясно без доказательств.

Любящий вас Боря.

Первая строчка (в черновике) была:

«О дождь, обезземеливший патриций,  
Чье сердце смерклось в даре повестей!»

2

Дурылин — Пастернаку

1 ноября 1929 г. Томск<sup>1</sup>

Журнала указанного я доселе не видал, его негде здесь достать, но эта выписка Звягинцевой, это дружеское указание из Иркутска доставили мне, Боря, радость, которую я, — и не я, а сердце, сразу же причислило к самым боль-

шим радостям моей жизни (я здесь уже 3-й год, и только через 9 месяцев может появиться надежда, что я буду вправу уехать отсюда). Эта радость, поистине «нечаянная», особенно радостна.

Я ничего не забыл из своего прошлого. Наоборот, оно мне ближе теперь, чем еще было недавно. И я помню, благодарно и прочно, юношу, который в тоске и лирической смуте однажды сказал мне: «Мир — это музыка, к которой надо найти слова». Юноша этот занимался тогда музыкой. Все знали и одобряли это и видели в юноше будущего талантливого композитора, ученика Скрябина. И, услышав эти слова от него, я сначала удивился: музыкант должен был бы сказать наоборот: мир — это слова, к которым надо написать музыку, но поэт должен был бы сказать именно так, как сказал тогда этот юноша. И я поверил, что он — поэт. Что он — поэт, теперь это знают все, читающие книги. Тогда, пожалуй, знал это, действительно, один я.

Я все это вспомнил, Боря, когда прочел письмо Звягинцевой. Но я никогда и не забывал этого юношу. После нашей встречи в 1927 г. на концерте Метнера мне хотелось зайти к Вам, я все это откладывал, с весны 27 г. я уже не мог ни зайти, ни откладывать, — и вдруг эти Ваши слова!

Эта дружеская признательность (не забывайте, что я знаю только две строки, а там, пишут, целая страница!) — признательность с открытым забралом, до слез тронула меня.

И мне захотелось Вам сказать об этом. Я просил Звягинцеву (она печаталась в «Узле», где и Ваша книжка вышла<sup>2</sup>, единственная, которая у меня здесь есть, присланная в подарок Максом Волошиным) узнать Ваш адрес. Он оказался тот же.

Сообщаю Вам мой. Может быть, Вы захотите встретиться со мной письмом. Если захотите, то пришлите мне «Охранную грамоту», я хочу, чтобы у меня была она со страницей, дорогою мне больше тысяч страниц других книг. Я занимаюсь здесь истор[ико]-литер[атурными] работами. Кое-что издано или издается, 4/5 не издано и не издается. Написал воспоминания о Л. Н. Толстом. Собирался писать воспоминания о Брюсове, но как-то расхотелось. Не совсем забыла меня и моя, забытая мною, муза. А так как когда-то и я писал стихи и Вы когда-то их слушали, то перепишу Вам один разговор с моим alter ego, томский разговор, в деревянном доме, с тонкими перегородками, со снегами, сузившими улицу до ущелья, и, конечно, разговор под гитару, ибо здесь, если есть сосед, то есть и гитара. Итак: «Под гитару»<sup>3</sup>.

Я ее — молодость — сгоняю со двора, а она возвращает-

ся, и все шепчет: «Разве ты — не я?» И нечего ей возразить, и когда в редчайшие минуты среди годов прочтешь если такие строки, которые прислала мне Звягинцева, мне и не хочется, я и не могу ей возражать.

К моей (нашей) молодости я ближе теперь, чем был к ней 10 лет назад. Еще раз, милый старый Боря, спасибо!

Целую Вас. Ответьте мне, порадуйте. Здоровы ли, бодры ли?

3

Пастернак — Дурылину

7 ноября 1929 г. Москва

7 ноября 29 г.

Дорогой мой Сережа!

Какая неожиданность! А ведь знаете, я Вашу руку узнал сразу, до вскрытого конверта, хотя и не сразу с первого взгляда, а только после того, как был смутно откинут в то самое прошлое, о котором речь у нас у обоих (в Вашем письме и в моем отрывке) и благодаря кот[орому] мы нашли друг друга на таком расстоянии.

Тут ничего словом не передашь, и потому чудесности происшедшего не буду касаться. Но и о себе ничего не скажу. Вы меня знали; как ни старался я всю жизнь измениться (потому что был всегда в тягость себе) — ничего из этого не вышло, я тот же. Я тот же, и потому Вы легко догадаетесь о моем преимущественном, чтобы не сказать — постоянном, самочувствии последних лет. И, разумеется, я не исключенье. Разумеется, мы увидимся. И если даже это произойдет не завтра, Вы-то ничего от этого не потеряете. В первую минуту мне захотелось написать Вам большое письмо и о многом. Но теперь вижу, что это трудно и ни к чему: как бы мрачный мой тон не омрачил и без того, вероятно, невеселого Вашего настроенья. Вот видите, по какому пустому поводу возникают уже затрудненья. Что же сказать о главном. «Охранная грамота», т. е. № 8 журнала «Звезда», придет к Вам обязательно, но с некоторым запозданием: у меня этого №-ра нет, и я сегодня же напишу в редакцию, чтобы мне выслали давно испрошенные оттиски. Однако, чтобы предохранить Вас от неизбежного разочарованья, тут же скажу: иркутские Ваши знакомые указали Вам страницу для нахождения строк, приведенных Звягинцевой. И Вы их знаете. Понятно, и контекст, в котором Вы названы, думается, местами будет близок Вам. Вы вправе были бы оскорбиться скупостью моей памяти

и неблагодарностью только в том случае, если бы «Охр[анная] гр[амота]» была рядом воспоминаний в прямом и собственном смысле слова. Однако это не так, и вот какое убеждение легло в ее основание. В конце 26-го года в Швейцарии скончался R.-M. Rilke. Мне так и не удалось написать о нем статью в ближайшие к его смерти месяцы. Самую мысль о ней отклоняли, даже и в предположеньи, намечая для нее людей надежнейших и официальных. Но дело не в том. Пожив в кругу размышлений, такой замысел предваряющих, я подивился тому, насколько не рвусь я узнать его биографию, или лучше сказать, насколько не от нее жду решающих указаний для работы. И тут то самое, что я чувствовал всю жизнь, я впервые понял очень отчетливо. Что истинная биография большого, векового поэта состоит в том, что делалось и случалось с людьми, его пережившими и на нем сложившимися, и поняв свою жизнь, как часть его сборной, темной и бесконечной биографии, я и принялся ее излагать в этом духе, посвятив свою запись его памяти. Она не кончена еще, мне пришлось работу бросить на первой трети или на половине. Мне пришлось ее упрощать. Так, например, соображение, легшее в основу этой вещи, было на своем месте выражено лучше и осязательнее, чем тут в письме. И я его вымарал, из боязни, что эта мысль покажется сложной и ее не поймут. Были и курьезы. Страница о Когене и Марб[ургской] философии вызвала такое осуждение, что мне ради ее сохранения пришлось сделать сноску в самом начале «Охр[анной] гр[амоты]», где в дальнейшем обещается переоценка всего высказанного.

Дорогой Сережа, я не могу отделаться от чувства связанности, когда пишу Вам, и как это несправедливо и печально. И это почти вошло в привычку, эта связанность, эта осужденность на ложное толкование, почти на каждом шагу вероятное, сковала все, что нуждается в дыхании, чтобы существовать, — жизнь, работу и все прочее.

Благодарю Вас за присланные стихи. Сильно состарился и я. И я рад старости: в моих обстоятельствах это возраст уместный и подходящий.

Еще раз горячо благодарю Вас за письмо и обнимаю Вас.  
Ваш Боря.

Дурылин — Пастернаку

26 ноября 1929 г. Томск

26 ноября

Дорогой мой Боря!

Письмо Ваше я получил одновременно с двумя книгами «Нового мира», с Вашей «Повестью» и Requiem om Rilke. Вышло так, будто Вы пришли ко мне и, как много лет назад, прочли с о е и побеседовали, как когда-то мы беседовали с Вами, сидя на подоконнике Живописи и Ваяния<sup>4</sup>, летом, над грохочущей Мясницкой... Пусть «связанность». Связывается лишь то, что может быть связано. Есть и несвязуемое. Как все странно — и какая у «странного» нестранная логика! Вы писали мне о Rilke (я от Вас только узнал, что он умер, и от Вас же узнал, что это почти нельзя было узнать: «связанность!»), — я припомнил маленькие готические книжечки еще у Юлиана Анисимова, вспомнил «Книгу часов»<sup>5</sup> (и улыбнулся на нашу тогда простоту: ведь надо было перевести просто «Часослов!»), вспомнил какое-то глубокое вхождение Rilke в Вашу поэзию, вспомнил, как он любил «Слово о полку Игореве», — и вдруг... Requiem его в Вашем переводе. Конечно, для меня это был Requiem по нем самом. И связанность оказалась преодоленной. Не странно ли?

Вещи приходят, когда что-то вызывает их в нас. И «Повесть» Ваша, конечно, вся «скована», «связана», — но мне было нетрудно ее «расковать», и опять там Вы, и текущие вокруг Вас и в Вас вещи, явления, сознания, состояния. Достаточно прочесть это, чтобы сказать, что Вы тот же. И «преимущественное Ваше» — то же. И что значит «измениться»? На это так же трудно, а м. б., и невозможно ответить, как на то, что значит «все течет»? Что, в самом деле, это значит? протекает? в-текает? ис-текает или вы-текает? или у-текает? Тут сотни возможных состояний — умилений, одержаний — все в одном Паута ρε̂ς\*. И текучесть нас и мира (то, что так постоянно чувствуется в Ваших стихах и прозе и что есть лучшее в них) — ощущаешь непрерывно, но ощущаешь то — как ущерб, то — как разлив, то — как исток, то — как впадение куда-то, то — как неостановимую, широкую «реку времен». И сам — то тонешь, то выплываешь, то вьешься спирально в омутной водоверти... Я могу сказать, как Вы: я тот же и никуда от себя не ушел, и знаю теперь, после множества

\* Все течет (греч.).

опытов и перемен, ничего во мне не переменивших, что уходить — не значит уйти... И куда уйти? Можно слышать мир — и искать слова к этой музыке, как когда-то хотели Вы, или наоборот, можно читать, как рукопись, мир и искать музыку к этим словам (без нее они страшны), но и то и другое деяние сомкнется в одном и разницы не будет. Когда-то поразили меня строки Случевского:

Как же мир не распадется,  
Если он возник случайно?

Лирическое крепление или метафизическое цементирование сущего — не истребляют ли они тоску бывания, разрушают это тихое, хроническое затмение бытия?

Мы все, как свет отбрасываем внутрь  
Из бытия, когда мы познаем.

Но свет этот остается в нас почти как [смутное?] обетование, как темный намек на непонятном языке — и

Есть между жизнью и большой работой  
старинная какая-то вражда.

«Большая работа» — для Бытия — уходит от нас, а малая — для бывания — томит как праздный труд, спутывая, как косматая кудель. И постепенно, и постоянно

...ты теряешь вечности кусок  
На вылазки сюда...

В том, чем я был еще недавно, я постоянно испытывал это. И вижу, что и Вы, Боря, испытываете это в творчестве и во всем, что не только творите Вы, но и что (главное) творит Вас.

Полгода назад я получил письмо от Н. Метнера<sup>6</sup>. Ему предшествовало мое письмо о его последних песнях, которое он получил в то время, когда писал музыку на «Безумных лет угасшее веселье...» и думал, что музыка никому не пужна, ибо все в мире и у всех уходит на «вылазки сюда» — только сюда. Письмо мое обрадовало его своей вылазкой не «сюда», а в тот «вечности кусок», который есть музыка. Меня эта радость ужасно огорчила: мало же у него радостей, если и такого письма достаточно для обрадования!

Значит, не Вы, не мы одни. Что же! Будем жить, будем делать «вылазки» друг в друга и в нашу былую молодость, а умрем — постараемся помянуть друг друга, как Rilke помянул «одну подругу»: с тою же приверженной скорбью, если не с тою же глубиной и силой. Буду ждать «Охранную гра-

моту». Есть у меня и просьба к Вам, милый Боря. Вы пришлите мне Ваше последнее стихотворение, а если не последнее, то самое любимое. Rilke вышел у Вас превосходно. Есть ли у Вас еще переводы из него? Спасибо Вам сердечное за письмо. Я с ним жил почти две недели и только теперь [оторвавшись?] от него, от «Повести» и от Requiem а, сел отвечать Вам. Обнимаю Вас и радуюсь, что Вы у меня есть. А мысль, что «истинная биография большого, векового поэта состоит в том, что делалось и случалось с людьми, его переживавшими и на нем сложившими себя», так верна, так крепка своей свежестью и правдой, что хотелось бы, чтобы появились п о д о б н ы е биографии Пушкина, Лермонтова, Тютчева. М. б., каждый из нас, обязанный этим поэтам собою, должен был бы писать такие биографии — и этим хоть несколько устыдилось бы рвение пушкинистов и прочих «истов» истории литературы, кроющих их биографии, как «френчи» или «толстовки».

5

Пастернак — Дурылину

24 февраля 1930 г. Москва

Дорогой мой Сережа!

Как мне Вас благодарить! Вы и короткой открыткой сумели взволновать меня и прийти на помощь. Ваше большое письмо было п о р а з и т е л ь н о. Вы, вероятно, и не догадываетесь, как много значит и какую гордостью за Вас преисполнило меня то, что Вы из реквиема процитировали строчки для всей вещи и ее смысла — вершинные и которые так легко не заметить, потому что их драгоценность в том и состоит, что даже и эта высота взята с природы и в природе оставлена; что она не теряется в прозаической простоте дневника; что она не задогматизирована и не выделена никаким голосовым курсивом.

«Есть между жизнью и большой работой...» и т. д.

Ах, ах, Сережа — с чудом Вашего понимания ничто не может идти в сравнение, и всего менее — я сам. И я ведь с н и з у, а не на одном уровне обсуждаю Вашу проникновенность и дивлюсь ей. Сами посудите, разница не мала! Передо мной был подлинник, я жил с ним, у меня было время; я мог по двадцать раз проворонивать н е з а м е т н у ю п о р а з и т е л ь н о с т ь каждой строчки, прежде чем она мне открывалась в двадцать первый. С этого двадцать первого раза и двинут перевод. И он дан Вам разом. Вот пропорция

наших шансов. При всем высказанном, Вы верно догадались, что главной трудностью задачи было сохранение т о н а подлинника.

И такое-то письмо я оставил без ответа! Не догадаетесь ли Вы и тут, как это могло случиться?

Дорогой мой друг, вот я допишу две-три вещи и, как говорится, — сложу оружие. Дело — тупик, дольше обманывать себя я не в состояньи. Как рассказать, до чего мне трудно! Мне, может, было бы легче, если бы я был связан с каким-нибудь одним из реальных установлений духа, а не с воздушными следами лучших из них, и со всеми сразу; не с местом их в истории и в душе. Я понес бы одну осязательную утрату, меня постигло бы горé определенное. Я в рассужденьи начинал бы с себя, а не кончал собою. А так мне жизнь не мила лишь в последнем счете: т. е. надо вперед пропитать ядом мир и время, чтобы отравить меня. И я думаю: как должен быть несчастен свет, если мне так тоскливо!

Лично мне, на п е р в ы й в з г л я д, жаловаться не на что. Напротив того, я неоплатный должник очень многих, давших мне доказательство любви незаслуженной, причинно неисследимой, дареной.

Я несколько раз принимался вслед за этими строками описывать Вам свой «*curriculum vitae*»\* и теперь махнул на это дело рукой. Этого не сделать по причинам техническим. Не сердитесь на меня за мои неполные, недоговоренные письма. Я готов всю силу нынешней подозрительности, видящей часто то, чего нет, целиком принять на себя. Но мысль, что каким-либо своим движеньем я могу привлечь ее на Вас, меня парализует.

Сейчас кончу. Вам, наверное, живется трудно в самом простом, житейском смысле. Мне стыдно, что я в этом отношении ничего пока не сделал и в самое ближайшее время не сделаю; что вместо стоящего и должного я высылаю Вам новые «Поверх барьеров». Они Вам не понравятся, и Вы будете правы.

У меня зачитали, т. е. вернее, увезли в другой город и утериали единственный номер «Звезды» с «Охр[анной] грамотой». На что она Вам в ее неоконченном виде, притом далеко отставшем от Ваших представлений, выращенных упоминаньями преданных Вам людей, которые справедливо радуются встрече с Вашим именем? Но если не уступите, я вышлю Вам истрепанный и истлевший до полной неотчетли

---

\* Краткое жизнеописание (лат.).

вести ремингтонный список, с кот[орого] ее набирали. Мука будет читать. Обнимаю Вас. Ваш Боря.

Р. С. Список прилагаю к «Барьерам». Известите о получении.

6

Пастернак — Дурылину

5 апреля 1931 г. Москва

*5 апреля 1931 г.*

Дорогой мой Сережа! Свинство на такие письма, как Ваше, отвечать открыткой. Я Вам напишу по-настоящему. Я молчал все время не из счетов с Вашим молчаньем, конечно. Знаю, что и Вы этой мысли, верно, не допускали. Но у меня был довольно сложный, по-живому сложный, год. Этому можно было бы радоваться, если бы только жизнь не была заколдованным кругом, где нельзя ступить шагу без того, чтобы не доставить им страдания близким, которые часто лучше и достойнее тебя. Торопливость неурочного моего ответа вызвана словами Вашими о болезни. Горячо желаю Вам скорейшего выздоровления — пожеланья этого не хочу откладывать. Надо бы Вас как-нибудь навестить. Мечтаю об этом, — весной, как-нибудь посуху. Желаю Вам от всей души бодрости, притока сил, успеха в работе. Истекшей зимой кончил две вещи (между ними «Охр[анную] гр[амоту]») <sup>7</sup>. Встречают преувеличенно тепло. Еще и еще раз всего и всего лучшего, здоровья и счастья. Сделался у меня вчера флюс, — раздуло. Вот гадость.

Б.

7

Пастернак — Дурылину

28 мая 1931 г. Москва

*28 мая 31 г.*

Дорогой, дорогой мой Сережа!

Что я за свинья, и когда вздумал поправлять это дело! Через час еду в Магнитогорск и только что из Киева. Зачем писать такие хорошие стихи людям, которые их не заслужили!! Как благодарить мне Вас за них!

О книжке <sup>8</sup> на другой же день по получении был разговор с дочерью С[урикова], О. В. Кончаловской. Как знают они Вас, оказывается, и любят! Ведь мне надо Вам по-настоящему

написать, Сережа, и — поневоле — о себе. Как это все неза-  
служенно, и сколько всего, если бы Вы знали, — и все вдруг, —  
начиная с этой зимы!

Сейчас мне, правда, собираться, и это безрассудство, что  
я пишу Вам. Но через 3 нед[ели] я вернусь, и тогда отведу с  
Вами душу, и заглажу все мои промахи перед Вами, если  
они загладимы. И я, может быть, попробую что-то сделать для  
Вас. А теперь позвольте крепко, крепко обнять Вас.

Ваш Боря.

8

Пастернак — Дурылину

19 декабря 1944 г. Переделкино

19 декабря 44 г.

Дорогой Сережа!

Горячо и сердечно благодарю тебя за твою книгу о Ка-  
чалове<sup>9</sup>, которую, собираясь сегодня в город, рассчитываю  
получить.

Мои Шекспиры пока еще не посягают на твоё время. Они  
на случай, что МХАТ с Божьей помощью покажет когда-  
нибудь «Гамлета»<sup>10</sup> и в обсуждении спектакля ты пожелаешь,  
может быть, строчкою-двумя коснуться текста и общего ду-  
ха постановки, как он сложился из моего пониманья. Завет-  
ное желание мое, чтобы тогда у тебя было некоторое пред-  
ставление об общем направлении этих работ, взятом в «Гам-  
лете» еще очень осторожно и робко, а потом смелее, и всего  
успешнее в «Отелло», рукопись которого будет лежать для  
тебя в «Литературной газете» и выдана по первому тре-  
бованью.

Детгизовский «Гамлет», которого я тебе посылаю, худ-  
ший из появившихся. Вообще, собственный мой пересмотр  
«Гамлета» еще впереди. Те же спорные, поспешные и мелкие  
измененья, которые по разным побуждениям я в него вно-  
сил эти годы (и кот[орые], может быть, портили его) —  
непродуманные и полусонные уступки, которым я настолько  
не придаю значенья, что во МХАТе, где я всегда к ним готов  
на ходу, я их даже не записываю и надеюсь получить когда-  
ниб[удь] в собранном виде от суфлера.

Какие обстоятельные оправданья, как, следовательно, я  
тебя высоко ставлю и боюсь.

Крепко обнимаю тебя и желаю радости, счастья в насту-  
пающем нов[ом] году.

Твой Боря.

Пастернак — Дурылину

20 июня 1945 г. Переделкино

20 июня 1945 г.

Дорогой Сережа!

Больше трех месяцев у меня воспаление нерва правой руки и частые конъюнктивиты (болезнь глаза). Мне временно запретили писать правой рукой, но левой у меня такой неразборчивый почерк, что я решил лучше немного помучиться, но написать тебе вкратце то, что давно хочу тебе сказать и о чем хочу попросить.

Во-первых, огромное тебе спасибо за «Качалова», который меня очень захватил, особенно своим началом, приходящимся на молодую, жанрово богатую пору биографии, так ярко схваченную тобою.

Могу не верить тебя в искренности моего восхищения и того, как я отношусь к мыслям твоих статей, к тому, как они написаны, к твоей начитанности и авторитету. Всему этому я сейчас дам корыстнейшие доказательства.

У меня к тебе две просьбы, одинаково нескромные. Как ни велико мое желание получить от тебя согласие, будь совершенно свободен в ответ: в твоих добрых чувствах ко мне я так же уверен, как в моих собственных к тебе, и можешь не бояться меня обидеть.

1. Будь редактором однотомного собрания моих шекспировских переводов. Чагина<sup>11</sup>, которому я тебя назвал, приводит в восхищение твоя кандидатура. Задача твоя сведется к тому, чтобы труд прошел через твои руки и вышел из них с твоим благословением. Разумеется, для нас будет подарком каждая строчка, которую ты бы задумал написать к нему, и, наоборот, я намеренно назвал тебе наименьшее из того, что от тебя потребуется. Но если бы ты даже все-таки отказался, мы и в этом случае не обратились бы ни к кому из шекспирологов, британистов и т. д. Том идет под общечеловеческой, русской, творческой, театрально-сценической, содержательно-сюжетной маркой, и все «переводческое», протезно-ортопедическое будет в нем отсутствовать сознательно подчеркнуто. Переводы, каждый порознь (это «Гамлет», «Ромео и Джульетта», «Антоний и Клеопатра», «Отелло» и «Генрих IV» (обе части)) в свое время прошли с успехом наш лингвистический таможенный досмотр и в дальнейшем внутреннем продвижении могут больше ему не подвергаться. Еще большее признание получили работы в Англии, где среди ста-

рых переводчиков Тургенева, Чехова, Толстого есть много людей, отлично читающих по-русски. В 22-м № «Британского союзника» от 3 июня напечатана большая и очень одобрительная статья некоего проф[ессора] Ренна (Ch. Wrenn) об этих переводах<sup>12</sup>. Если тебе не удастся ее достать, я тебе ее пришлю с кем-ниб[удь] из скрябинских девочек<sup>13</sup>. Одним словом, об английской стороне дела ты не беспокойся. Но кто, кроме тебя, может с такой силой и правом судить о тексте в его собственном самостоятельном качестве, с его поэтической стороны и театральной. Любая твоя статья к тому, как бы то ни было с ним связанная, о Шекспире ли на русской сцене или о Ш[експире] в русской литературе, или истории нравов, или просто о русском театре без Шекспира будет принята с восторгом. Может быть, что-нибудь вступительное, но на каких-ниб[удь] самых общих основаниях, напишу и я. Ответь, пожалуйста, не очень задумываясь, потому что договор мы будем заключать на днях.

Другая просьба того же порядка, но гораздо более бессовестная, почти неприличная. В «Лит[ературной] газете», органе, кот[орый] я считаю полицейскими ведомостями в руках трех древних граций и абсолютно враждебным мне<sup>14</sup>, целый год собираются дать то рецензию на «Ромео» и «Антония», то статью о моем последнем сборнике, и нарочно мудрят и манежат, чтобы ничего не дать. То заказывают они это Зелинскому, и он им пишет какой-то иезуитский вздор, то бестактнейше собираются обратиться с этим к Ахматовой, моей статьи о которой они же не печатают<sup>15</sup>.

Надо ли говорить тебе, что для меня будет торжество и праздник даже если ты выругаешь меня, столько интересного ты скажешь сверх расставленья баллов. На твоём бы месте я сразу написал бы и о Шекспире и о самостоятельных стихах, как-то бы это связав. Если тебе это как-нибудь улыбается, я даю знать в «Лит[ературную] газ[ету]», что написал тебе. Прости, что так много написал тебе однообразно-эгоистического. Как твоё здоровье? Ответь мне, пожалуйста, по почте в город. Ещё раз прости. Бросаю — болит рука. Обнимаю тебя.

Твой Боря.

31 мая в Оксфорде умер мой отец. Это — левой. Я стал стар и забывчив. Сейчас меня преследует ощущение, будто я такое же точно письмо уже раз отправил тебе. Если это правда, прости и не смейся надо мной.

Дурылин — Пастернаку

27 июня 1945 г. Болшево

27.7\*.1945 г.

Милый Боря!

Твое письмо было для меня и воскресшею молодостью, и радостью, и скорбью, и призывом к жизни, которая лишь условно междуется на молодость и старость.

«Писано левой рукою!..»

Я горько вздрогнул: ведь я все еще думаю, что ты молод, молод, молод. А «левая рука» — это, говорят, старость. И ты употребляешь это слово. Но в почерке, в ритме стремительном, вешнем потоке твоей речи нет ни одного признака старости. И пусть ее не будет. Пусть будет просто: Боря Пастернак, как было всегда.

С первого же слова скажу тебе, что я счастлив в твоей просьбой написать о тебе. Счастлив. Все напишу, что ты хочешь.

Ведь когда-то, больше 30 лет назад, я радовался твоим первым строкам, еще никому неизвестным, я первый мечтал увидеть их в печати — и увидел первый.

Когда я прочел первые твои переводы из Шекспира, я почувствовал, что в русской поэзии и в 1940 году повторилось то, что было 120 лет назад: когда Жуковский напечатал «Шильонского узника», никто не говорил: «Появился перевод поэмы Байрона», все понимали: в русской поэзии и совершилось новое чудо: явилась новая поэма неслыханной красоты и силы.

То же самое произошло, когда появился твой «Гамлет». Русской поэзии пришло, в русской поэзии совершилась новая тайна рождений.

И снова будут чисты розы,  
И первой первая любовь.

Суди сам, рад ли я писать об этой радости, что Шекспир наконец-то причалил к берегам русской поэзии и что ты — кормщик на его корабле.

С радостью принимаю оба твои предложения: редакционное предисловие к сборнику Шекспира и статью в «Литер[атурную] газету». Но очень буду нуждаться в твоей помощи.

\* Дата ошибочна; по содержанию следует — 27 июня.

## I. По Шекспиру.

1). У меня есть «Ромео», «Антоний», «Отелло» и нет «Гамлета» и «Генриха». Я получил от «скрябинских девочек» «Ромео» и «Антония» с немалым запозданием, а адреса твоего они так и не могли мне сообщить: «живет в Переделкине, вот и все». Я не отвечал тебе на эти книги, но сердечно был тронут их присылкой и отзывом о моем «Качалове». Где бы и как достать «Гамлета» и «Генриха»?

2). «Гамлет» издавался трижды — с изменениями. Нельзя ли мне прочесть все три редакции?

3). Мне нужно бы прочесть какую-ниб[удь] свержавторитетную статью советского «лингвиста» о твоих переводах, чтоб, при случае, отсылать к ней читателя, мучимого лингвистической совестью. У меня есть только статья Морозова в сборнике «Театр» (М., 1944)<sup>16</sup>.

4). «Брит[анского] союзника» с нужн[ой] статьей у меня нет. Он необходим.

## II. По статье.

Я о ней напишу тебе подробнее, т. к. спешу отослать тебе это письмо, но мне надо бы иметь твой последний сборник, изданный во время войны («На ранних поездах»), и знать, как и где сборники твои и книги я должен иметь в виду в своей статье.

Все это — указания, книги, статьи — ты можешь оставить на мое имя у себя на квартире, за всем этим зайдет моя жена, — или можно направить через Ирину из Скрябинского музея с наказом, чтобы она действительно спешно все это доставила мне. Не посылай книг и статей по почте — все пропадет.

Еще один вопрос: а не думаешь ли ты, что шекспироеды и гамлетоглоты нападут на тебя за оскорбление их шекспироведческого величества, что ты поручаешь предисловие и редактуру мне, не принадлежащему к их династии?

Я часто спрашивал себя во время войны о двух дорогих мне по воспоминаниям юности людях — о Н. К. Метнере и о твоём отце: где они, что с ними на Британском острове во время огненной бури. И кто-то с метнеровской стороны сообщил мне, что он в Оксфорде. Вот и Леонид Осипович в Оксфорде и там остался навсегда!

Я окончил книгу о Нестерове<sup>17</sup> — в ней приведены его письма, где он так тепло отзывается о Леониде Осиповиче. Они жили в одних и тех же меблир[ованных] комнатах и оба ждали к себе П. М. Третьякова, и у обоих он купил по первой картине, у Н[естерова] — «Пустынника», у Л[еонида] О[сиповича] — «Вести с родины». А совсем недавно я смотрел фо-

то с картины Л[еонида] О[сипови]ча «Чижик», где он изобразил себя у рояля, а на коленях у него ты — маленький мальчуган. Это первое твое изображение в живописи?

У меня на стене висит «Толстой» Леонида Осиповича — с его ласковой надписью.

Я всегда вспоминаю его, думая о тебе и о нашей юности, и всегда в моей душе есть благодарность к нему.

Горячо тебя обнимаю и целую, милый Боря.

Твой Сережа.

Было бы чудесно, если бы ты собрался ко мне с ночевкой. Мы обо всем поговорили бы как следует — и о предисловии, и о статье.

11

Пастернак — Дурылину

29 июня 1945 г. Переделкино

29 июня 1945 г.

Дорогой Сережа!

Горячо, горячо благодарю тебя за согласие и скорый ответ. Чагину сказал. Он в восхищении. Вот тебе дополнительные сведения. Договор со мной собираются заключить в августе, том приготовить надо будет к концу года, чтобы с божьей помощью выпускать в начале 46-го. Но это не исключает возможности или надобности для тебя сговориться с ними уже и теперь, потому что все надо торопить и подталкивать. Впрочем, они, конечно, обратятся к тебе сами.

«Генриха IV-го» первую часть тебе пришлю — вторую дописываю (ее-то и дописываю вчерне левою рукою, а тебе писал и пишу правою), всего «Генриха» надеюсь кончить через месяц. Окончательной ступенью отделки для меня давно стал процесс корректуры, так что, например, «Отелло» в отдельном издании, которого они скоро выпустят, чуть-чуть иной, нежели у тебя в рукописи. Это же повторится, наверное, и с «Генрихом». Возни текстовой в томе у меня никакой не будет, кроме «Гамлета», с которым слишком нянчились, да вдобавок еще семь няnek пословицы. Половины своих разночтений я не помню. Интересом для тебя будут обладать только две его редакции: первая, самая свежая и, как некоторым показалось, «дерзкая», напечатанная в журнале «Молодая гвардия» летом 1940 г. (у меня самого ее нет, надо будет достать), и та окончательная, которую я сделаю для тома по первой, частью ее восстанавливая, частью сглаживая ее резкости.

У тебя (но я уже писал тебе об этом и повторяюсь) с то-мод будут две заботы. 1. Присмотреть за мною по всему тому, что с точки зрения твоего собственного вкуса и только в отношении свободы, естественности и выразительности речи, как в оригинальном произведении, а не в смысле соответствия чему бы то ни было, что уже однажды преодолено и теперь предусмотрено. 2. Написать что-нибудь к тому, если бы ты захотел, и то именно, что бы тебе заблагорассудилось. Ты, именно, мог бы вслед за Пушкиным и Гете опять сказать о Шекспире или о чем-нибудь около него с их широтой и непредвзятостью, где-то в соседстве с толстовскою полемикой, наполовину справедливой (и сильно предопределившей главную, реалистическую, упрощающую тенденцию моих переводов). Между прочим (но ты, наверное, это знаешь и я «ломлюсь в открытую дверь»), если бы тебе потребовался косвенный «витамин» или «возбудитель», вроде чая, мандарин [овой] кожуры и т. п., есть у Гюго книга о Шекспире. Ее очень любил Ап[оллон] Григорьев и ссылался на нее, как на прообраз того «цветного, органического» и пр[очего] искусства, с мечтою о котором он носился. Она имеется в ВТО, я ее читал. (V. Hugo. William Shakespeare.) На 300 страниц глупости и трескотни, как всегда у Гюго, десятка полтора стр[аниц] действительно поразительных, и, по счастью, в начале. Он писал ее в эмиграции, на Гернсее, попеременно с «Тружениками моря», и веянье политического изгнания и близкого моря хорошо чувствуется и прямо названы в ней. Я ею пользовался как такую вкусовую затравку для переводов и только для такого посасыванья за работой и привожу тебе. Итак, Шекспир и Чагин дело решенное и радостное, за меру радости которого еще раз огромное спасибо тебе от всего сердца.

Но насколько мне все близко и ясно у Петра Ивановича, настолько сомнительна и вызывает опасенья обстановка в «Лит[ературной] газ[ете]», так далеко и враждебно мне все у них, так при всех своих увереньях в преданности они скорее готовы меня в ложке утопить, чем поступить со мною благожелательно и справедливо. Хотя они, действительно, забрались ввысь, приискивая автора статьи обо мне, хотя, действительно, я указал им на тебя в этом их взлете, и Ковальчик<sup>18</sup> должна позвонить тебе, но они, наверное, разгадали, каким безмерным счастьем для меня было бы наше сотрудничество, а так как целые десятилетия они сквозь завесу любезностей делали мне только гадости, то и на этот раз, я уверен, они откажут мне в этой радости, и наоборот, торжествуют, найдя новый случай чувствительно огорчить меня. Од-

нако рано отчаиваться. А вдруг и правда на этот раз они будут верны слову! Надо ли говорить тебе, о чем я мечтал в этом случае и почему к тебе обращался? Во-первых, подарком было бы, что статья была бы т в о я и что она была бы (как и в отн[ошении] Шекспира) на широкую т е м у, в каком-то смысле (неспециальном, человеческом) о творческом мире поэзии, о стихии писательства и только в каком-то последнем счете о частном случае общей темы, о предмете разбора. К похвалам, по-аптекаерски с предустановленной достодолжностью каждому отвешиваемых, мы все привыкли, и они втройне опротивели: оскорбительным фактом развески, бессодержательностью и пустотой и тем, что от этих похвал всегда воняет. Чудом и невидалью была бы статья с твоими м ы с л я м и, статья по современному поводу, которую интересно было бы читать.

Свой последний сборник (наверное, о нем и будет речь) я послал тебе. Не обременяй себя лишним материалом. Со дня на день в Гослитиздате должен выйти мой последний, скупой и удобообозримый отбор сделанного в небольшом томике<sup>19</sup>. Я достану его тебе. О его содержании можно спорить, может быть, там и не самое лучшее, но на принципе отбора я стою и в нем уверен. Я там отобрал самое выпуклое, сосредоточенно-образное, осязательное и живое в ущерб отвлеченным притязаньям и тому прутковскому ложному глубокомыслию, к которому всегда приходит невольная, политически вынужденная бессюжетность нынешней литературы, — я старался в нем избежать ложной глубины и схемы. Однако довольно, я замучил тебя.

Что бы ни вышло из наших предположений (особенно из последнего), я уже и сейчас в выигрыше. Мы перекинулись с тобой письмами, и, как мне кажется, в самом широком, ни к чему не обязывающем и ничего не меняющем смысле ты мне позволил надеяться, что мы союзники. Это значит вот что. Только в самое последнее время, отчасти из-за болезни руки, отчасти под давлением обозначившегося возраста, я почувствовал, что только мириться с административною росписью сужденного я больше не в состоянии и что сверх покорности (пусть и в смехотворно малых размерах) надо делать что-то дорогое и свое, и в более рискованной, чем бывало, степени, попробовал выйти на публику. «Рискованной» я сказал в том смысле, что я ждал от этого только неудачи и эстрадного провала. И представь себе, это принесло одни радости. На моем скромном примере я узнал, какое великое множество людей и сейчас расположено в пользу всего стоящего и серьезного. Существование этого неведомого угла у нас

дома было для меня открытием. Вот другое. За последние два года я, поначалу отрицательными путями, из нападок (здешних), на себя узнал о существовании молодого английского направления непротивленцев (escapistes). Эти люди были на фронте и воевали, но считали, что писать и говорить о войне можно только как об абсолютном обоюдостороннем зле. Их другое литературное прозвище — персоналисты, личностники. На их знамени имена Руссо, Рескина, Кропоткина, Толстого. Они скорее анархисты, чем что бы то ни было другое. Они выпускают альманахи «Transformation», нечто среднее между «превращением», «перерождением» и «преображением». Им пишут статьи мыслящие представители англиканской церкви. Они много места уделяют крупнейшим завершителям европейского символизма, Прусту, Рильке, Блоку. Сомовским портретом Блока открывался их первый альманах! Во втором они дали «Цикад» Бунина. Они зачислили меня в свое братство, поместили «Детство Люверс» в 1-м альманахе, и их издательство анонсировало выпуск тома моей прозы, за которым последуют стихи. Их вожак — драматург и поэт Герберт Рид<sup>20</sup>, и надо, наверное, знать несравненно лучше язык и, кроме того, жить в их условиях, чтобы правильно судить об их деятельности, но насколько захватывают близостью и глубиной содержания их критическая и мировоззрительная часть, настолько бледными показались мне их художественные отрывки. Впрочем, я никогда не понимал неконкретного, отвлеченного *vers libre* а, и он казался мне водянистым и бессильным не только у Рукавишниковой и Дюамеля, но иногда, страшно сказать, и у Гете.

Все это я рассказываю тебе, чтобы ты понял, в каком отношении радостен мне твой отклик. Это тот поворот людей издали лицом друг к другу, который их ничем не связывает и не обременяет, но в каких-то высших целях, не исчерпываемых жизнью каждого в отдельности, одухотворяет пространство веянием единенья, без которого нет бессмертия. На одном из вечеров я прочел пустяк, которым пока отделяюсь впредь до написания чего-нибудь настоящего памяти Цветаевой<sup>21</sup>. Он произвел впечатление. Я его тебе посылаю. Спасибо!! Обнимаю тебя.

Твой Боря.

Сердечный привет твоей милой жене.

Дурылин — Пастернаку

Конец июня 1945 г. Болшево

Дорогой Боря!

Я пишу только полслова. Я крепко, крепко жму твою руку, старую, верную, дружескую руку — и чувствую твоё письмо, как радостное рукопожатие на общую работу.

Все сделано, о чем ты пишешь. С наслаждением буду писать о твоём Шекспире — первом Шекспире, который захотел жить в России, и о твоих книгах. Для статьи, очевидно, нужно дождаться выхода твоего изборника. Не надивлюсь, в каком виде я получил книжку твоих стихов. Кто был сей любитель автографов и отчего он любит их собирать?

Пожалуйста, напиши мне то, что отнял у меня этот любитель автографов, — и верни книжку<sup>22</sup>.

На большое твоё письмо буду отвечать большим письмом. А пока ограничиваюсь этими строками и обнимаю тебя крепко.

Цветы Марине Цветаевой чудесны.

Сереза.

Пастернак — Дурылину

3 июля 1945 г. Переделкино

3 июля 1945 г.

Дорогой Сереза!

На этот раз это действительно левою, но ты не огорчайся, я, Бог даст, двадцать раз вылечусь.

Видишь, как часто я стал надоедать тебе. Зимой исполнилось 135 лет со дня рождения Шопена, и «Сов[етское] иск[усство]» спешно, за два дня до даты, заказало мне статью, месяцы восхищалось ею, восхищалось и не напечатало<sup>23</sup>. Мне жалко этих мыслей, я хочу, чтоб ты их прочел. По ознакомлении передай статью (как, может быть, и стихи о Марине) в Скрябинский музей, ему в собственность. Если они захотят для кого-нибудь переписать ее, то только с абсолютной, абсолютнейшей выверкой до последней запятой, — скажи это, пожалуйста, девочкам.

Это не напоминания, не способы тормозить тебя и отвлекать. Если ты вздумаешь написать мне, я решу, что ты меня в

этом заподозрил, и обижусь. Так что лучше забудь обо мне.  
Сердечный привет Ирине Алексеевне.

Твой Боря.

14

Дурылин — Пастернаку

Июль 1945 г. Болшево

Дорогой Боря!

С истинным увлечением прочел твою статью о Шопене.

Слово «реализм» — сейчас одно из самых усталых, перегруженных, ослабевших слов. В се в искусстве оказалось «реализмом»: и Данте, и Бальзак, и Бетховен, и Рафаэль, и Байрон, и Мусоргский, и Тютчев, и Золя, — все реализм.

Получилась какая-то «мала-куча» из поэтов, композиторов, живописцев всех веков и народов, которая будто бы и есть некий пан-реализм звука, краски, слова. В действительности, потеряно самое отношение к *res\** в искусстве, и чтобы выбраться из этой «мала-куча», надлежит вернуть себе обоняние, слух, зрение на создания искусства.

У тебя слово «реализм» в приложении к Шопену опять освежает, начинает пахнуть бытием, а не затхлою комнатой в современной редакции.

Слыша толки о том, что Мусоргский — реалист, а Чайковский — нет, Шалапин как-то сказал: «Не в том дело, что музыка Мусоргского есть реализм, а в том, что его реализм — есть Музыка». Он произнес это слово с большой буквы, с очень большой.

Вот так произносится это слово у тебя в статье о Шопене.

Когда говорят о реализме, я всегда вспоминаю Вячеслава Иванова с его излюбленной формулой: «*A realibus ad realio-ga*». «Реальное» всегда понимается как покорно и покойно пребывающее в своей раз и навсегда отмеренной и измеренной области: отсюда и досюда. А между тем, оно неизмеримо, это «реальное», и несовместимо ни с какою исчерпанностью и ограниченностью пределов. «Реальное» всегда со знаком бесконечности, неисчерпаемости, продолжаемости *ad infinitum\*\**. И в этом смысле музыка, а не архитектура, не скульптура, не живопись, как принято думать, есть реальнейшее из искусств, ибо музыка только потому и музыка, что она не может бытийствовать иначе, чем под знаком *ad infinitum*.

\* Вещь, предмет (лат.).

\*\* До бесконечности, беспредельности (лат.).

В этом смысле, продолжая думать, — Шопен несравненно «реальнее» Мусоргского, а «Дон-Жуан» Моцарта с его устремленностью к извечному ритму любви-страсти несравненно реальнее пресловутого «Каменного гостя» Даргомыжского, с его слепую прикованностью к слову, — а в сущности, — к рационалистическому мирозерцанию 60-х годов.

В Шопене есть то — в каждом его opus e, — что Гете требовал от каждого стихотворения: есть внутреннее событие, есть неразложимый (и неисповедимый!) факт бытия (н е бытования, н е бывания, а б ы т и я!), который и порождает музыку э т о г о этюда или э т о й мазурки.

А вот в музыке Прокофьева нет «внутреннего события», нет вовсе «ges» бытия. А потому его музыка — чисто формальная, а вовсе не реальна. Оттого она и внутренне ничтожна, а внешне представляет собою лишь формальную «звукопись».

Ключом, которым ты отпираешь уединенную старинную комнату Шопена, можно отпереть, мне кажется, и любую комнату современного поэта или музыканта. Мне давно сдается, что у 99/100 современных поэтов нет никаких gealia, — и они даже не подозревают, что могут быть еще realiora.

В этом смысле ты — великое исключение.

Стихи твои к Марине Цветаевой — в сопоставлении с лучшими твоими стихами былых годов — это стихи с realiora, а не только с gealia.

Они прорывают всяческие «бытования» и «бывания», жизненные и условно поэтические (то, что Верлен называл «литературой»). Они заставляют трепетать скорбью, гневом — и вместе великим утешением подлинного «бытия». Это и элегия, и дифирамб, — и со времен лермонтовской «Смерти поэта» не было в нашей поэзии таких звуков и скорбно-элегических, и грозно-дифирамбических одновременно.

Это у тебя что-то новое, высоко-смелое, глубокое и проникновенное, — и произнесенное так, как Пушкин писал про Мицкевича: «он с высоты взирал на жизнь»<sup>24</sup>. Только я прибавлю: и на смерть. А сколько укоров совести, горечи и слез, это труднее, вольются в твои стихи, — и уже влились. Как всякий истинный дифирамб и настоящая элегия-эпитафия, твои стихи дают исход нашим чувствам, вызванным этою смертью.

Я помню Марину, когда она еще почти ребенок, печатала первые стихи в «Антологии Мусагета» и Эллис говорил о ней как о ребенке, для которого жизнь — «волшебный фонарь» (каково и было название ее книги стихов). О ее смерти я узнал от В. К. Звягинцевой. Это была одна из самых

тяжелых вестей, которую мне пришлось услышать за все время войны.

И вот всю эту тяжесть, всю эту память о «Волшебном фонаре», этой прекрасной жизни и поэзии, всю благодарность за свет и тень этого фонаря, всю скорбь и горечь за эту смерть — все выразили твои стихи.

Они твои и не твои: твои потому, что это лучшие твои стихи, не твои потому, что их всяк возьмет в свою душу, в свою совесть и оставит их там навсегда.

Не жизни жаль с томительным дыханьем.  
Что жизнь и смерть! А жаль того огня,  
Что просиял над целым мирозданьем,  
И в ночь идет, и плачет среди дня.

Лев Толстой плакал над этими стихами Фета<sup>25</sup>. Вот так легко плакать и над твоими стихами о Марине. И плачут над ними.

Обнимаю тебя крепко и сердечно. Большая радость — читать твои работы, думать о тебе и копить эти думы для статей, посвященных твоей правдивой и чистой музе.

Твой С.

P. S. В статье английского профессора о тебе меня поразило и утешило то, что он горячо хвалит твой перевод «Быть или не быть», тогда как Морозов ругает его. За что ругает? В сущности, за то, что в нем нет трафарета «монолога», что в нем чувствуются не театральные мысли вслух для зрителя, а подлинное, жизненное дыхание живого человека, простой вздох-выдох его сердечных раздумий и мыслительной тревоги.

Я просто был счастлив, что шекспировед-англичанин подтвердил мое собственное отношение к этому куску трагедии в твоём переводе.

PP. S. Спасибо за книжку и за чудесный автограф

Сереза.

15

Пастернак — Дурылину

10 сентября 1945 г. Переделкино

*10 сентября 1945 г.*

Дорогой Сереза!

До меня дошли слухи, что твоя статья в редакции. Вместе с тем она не появляется. Значит, и с тобою, как всегда со мною, там что-то неладное. Одинаковая гордость и за тебя и за себя не позволяет мне наводить справки. Но что бы там

ни было, прости, что я оказался несчастною или неустойчивой темой и не по своей вине (это ведь все страшные мерзавцы и обманщики!) обманул тебя как возможность. Мне страшно обидно и совестно, что ты потратил на меня время, которое еще не окупилось. Не уничтожай, пожалуйста, статьи, она когда-нибудь понадобится. Я ее не видел и не имею понятия о ней. Несмотря на эту задержку, я всегда буду называть тебя как ближайший мне авторитет (как остается с Шекспиром), пока ты мне этого не запретишь.

Целую тебя.

Твой Б.

Дорогой мой друг. Прости за спешку и скороговорку Строчу как каторжный. Рука прошла.

16

Дурылин — Пастернаку

После 10 сентября 1945 г. Болшево

Милый Боря!

Пишу полслова. Статья давно в редакции. С нею очень торопили, но не печатают. Ирине сказали: «Мы ожидали, что это будет статья, а это — литературный портрет».

Но, впрочем, ее-де кто-то еще не читал, от кого все зависит. А я рад, что ее написал, и очень рад, что это — «портрет», а не карикатура, которой, может быть, им хотелось бы. О Шекспире рад писать в любое время.

Обнимаю тебя.

С.

У меня есть 2 экземпляра статьи. Один для тебя.

17

Пастернак — Дурылину

25 сентября 1945 г. Переделкино

Дорогой Сережа!

Спасибо тебе за письмо. Прочитать твою статью было бы для меня истинным наслаждением. Если бы Ирина Алексеевна как-нибудь оказалась в наших краях и могла бы занести ее в домоуправление, это в придачу ко всему прежнему обязало бы меня еще больше по отношению к ней и к тебе.

Целую тебя.

Твой Б. П.

Пастернак — Дурылину

27 января 1946 г. Переделкино

27 января 1946 г.

Дорогой Сережа!

У меня сейчас возможность два-три месяца потрудиться над чем-нибудь своим. Я, как угорелый, пишу большое повествование в прозе, охватывающее годы нашей жизни, от «Мусажета» до последней войны, опять мир «Охранной грамоты», но без теоретизирования, в форме романа, шире и таинственнее, с жизненными событиями и драмами, ближе к сути, к миру Блока и направлению моих стихов к Марине. Естественна моя спешка, у меня от пролетающих дней и недель свист в ушах.

Если ты меня любишь, знай и помни, что на какие бы сроки без следа ни проваливался я, это не значит, что я забыл тебя, что в вещах, о которых я писал тебе летом, могло что-нибудь измениться. Если я не сказал, что в числе немногих, для кого я в данные дни пишу свою вещь, я пишу ее для тебя, то только оттого, что это, верно, выше моих сил и я этого сказать не смею.

Мою поспешность довершает то обстоятельство, что досуг, завоеванный мною для моей собственной работы, поддерживается усердием на посторонние темы, переводами, вводными статьями к ним и пр., и это отрывает от своего, нарушает сосредоточенность и сокращает время. Все, в чем признавался я тебе летом, только выросло и усилилось. Единственная цель письма, обнять и пожелать тебе счастья, здоровья и плодотворности. И чтобы ты не судил по видимости, чтобы не сожалел, не обвинял.

Я говорю это с тем большим поводом, что все время нас разлучали с тобой, по статье в «Лит[ературной] газете», по Шекспиру, который все время стоял на точке замерзания, по всему. Что я ни предпринимал, не в моих силах было противостать этому разъединенью, именно потому такому упорному, что так откровенно велико было мое желание работать вместе с тобой.

Теперь Чагин ушел из Гослитиздата и Шекспира согласно издать «Искусство». Конечно, я и у них назвал тебя. Там ты в страшном почете, но от тебя, как редактора собрания, они отказались под тем предлогом, будто скажут, что они («Искусство») и я спрятались за тебя от лингвистов и текстоло-

гов\*. Я отказался от М[ихаила] М[ихайловича]<sup>26</sup>. Нам надо будет прийти к какому-то соглашению. Сколько я ни просил в «Лит[ературной] газ[ете]» показать мне твою статью, я по сей день так ее и не видел. Они врут, будто они ее затеряли. Я слышал, будто они опять заказали кому-то новую статью о моей несчастной книжке, кажется снова Зелинскому, первую статью которого они тоже забраковали. Мне страшно обидно за тебя и горько, что все это благодаря мне. Будет ли оправданием, т. е. будет ли тебе легче, если я скажу, что все время исправно глотаю во сто раз худшие обиды? Обнимаю тебя.

Твой Боря.

Сердечный привет Ирине Алексеевне.

19

Пастернак — Дурылину

24 марта 1946 г. Переделкино

Дорогой золотой мой Сережа!

Все эти дни рвусь расцеловать тебя за твою поразительную статью. Дело не в том, что ты так без меры расхвалил меня в ней, и не в том, что она бьет не в бровь, а в глаз и так прекрасно написана. Больше всего взволновала она меня тем, что ты так живо, свободно и благородно веришь мне. Милый Сережа, знай, что, хотя я еще не заслужил этой веры, я ее оправдаю. Нам надо еще пожить с тобой, мы должны пожелать этого друг другу. Сейчас больше ничего не хочется говорить. Без конца благодарю тебя.

Твой Боря.

Кланяйся, пожалуйста, Ирине Алексеевне.

20

Дурылин — Пастернаку

7 апреля 1946 г. Болшево

7 апреля

Милый Боря!

Оба твои письма были для меня праздником, весенним праздником старой любви и нового братства по мысли, по сердцу. Но я из-за болезни, преследующей меня в этом году,

---

\* Чагинская и моя точка зрения, что лингвисты, текстологи в этом вопросе величины несуществующие или которыми можно пренебречь, до них не доходит. (Примеч. Б. Л. Пастернака.)

ничем еще не отозвался на эти письма! Моя Ирина послала тебе мою статью вместо ответного письма на первое твое письмо. Больной я ничего не написал. Прости меня за это. Возвращая статью, Ирине прямо сказали в редакции (уплатив за статью деньги): «Мы ожидали от С[ергея] Н[иколаевича] к р и т и ч е с к о й (подчеркнуто!) статьи, а это совсем не то: это портрет поэта». Я пришел в восторг от этой правды поневоле. Если это, действительно, портрет поэта, — то я ничего другого и не желал бы. Портрет? Ну, и хорошо, что портрет: всякий портрет ценен прежде всего своим сходством с оригиналом. А желали, очевидно, получить от меня нечто, построенное именно на утверждении «несходства» — ведь всегда «к р и т и к а» (как ее обычно понимают теперь) — это прилежное отыскание в поэте (или художнике) н е с х о д с т в а с тем, что почитается образцовой моделью поэта-современника, моделью, сделанной по специальному заказу, по кем-то утвержденным чертежам.

А вся мысль моя в том и состоит, что ты никогда не был похож ни на кого, кроме самого себя, — и никакие чужие бытованья, ничьи чужие быванья никогда не затмевали твоего бытия, подлинного, кровного, высоко-независимого и никем не подавленного.

Как трудно кому-то понять, что руду свою ты добываешь не из «заарендованного» чужого участка, а из родового, глубокого рудника, из собственного сердца, и как не хочется кому-то понять, что эта руда — з о л о т а я!

Вот только это я и сказал в моей статье, — и мне даже не предложили, как часто бывает, ее исправить или изменить; отлично знали, что ничего не изменю, в каждом слове останется одна и та же мысль и уверенность — Борис Пастернак — поэт милостию Музы, а не произволом молвы или прихотью моды.

Да, проживем еще, Боря, — и еще повоюем!

Обнимаю тебя крепко и сердечно.

Твой Сережа.

Меня дважды звал А. Н. Глумов<sup>27</sup> на чтение твоего «Гамлета» — и дважды я по болезни не мог быть на этих чтениях. Я писал ему на Филармонию о своем искреннем сожалении; не знаю, дошло ли до него это письмо! При случае засвидетельствуй ему мои благодарность и сожаление.

Пастернак — Дурылину

1949 г. Переделкино

Дорогой мой Сережа!

Я пишу это, чтобы при твоём недосуге заблаговременно убережь тебя от писанья мне письма о начале романа. Не делай, ради Бога, этого; если бы даже мы были свободнее, это всегда так мучительно для пишущего, даже в наилучших случаях: пишешь, пишешь, говоришь самые страшные восклицательные слова, и все мало, и все мало: и твой незримый адресат в отдалении (всегда кажется, что он должен быть ненасытен, как Минотавр) постепенно становится твоим проклятием.

Катя Крашенинникова сказала мне по телефону, что он тебе понравился. Как ни любят преувеличивать женщины и добрые люди, мне ясно, что ты его не осудил, и я ликую, и с меня довольно.

Ничего не рассказываю и ни о чем не расспрашиваю: все нужное мы друг о друге знаем. И это не напоминание о рукописи. Никто тебя ни в каком отношении не торопит. Ты уже написал мне.

Обнимаю тебя. Привет Ирине Алексеевне.

Твой Б.

Пастернак — Дурылину

23 февраля 1952 г. Переделкино

*23 февраля 1952 г.*

Дорогой Сережа!

Я тебя не поблагодарил вовремя за твоё замечательное письмо, доставившее мне такую большую и неожиданную радость. Около месяца я провозился с врачами, рентгенами и пр., после двух припадков острой, таинственной и так и оставшейся невыясненной боли в левой нижней части живота. Пока все обошлось, и я с твоего незримого благословения, каковым явилось твоё письмо, снова возьмусь за роман, в своё время доведённый до 18 года (во второй тетради), а потом оставленный для «Фауста», обе части которого я перевёл, и теперь требующий давно задуманного окончания.

Когда я читал твоё письмо, я тебе мысленно направлял ответное послание, ни малейшей доли которого не хочу тут

воспроизводить, чтобы не поставить под угрозу то небольшое, что я хотел бы сказать тебе поскорее.

Что я от души желаю тебе скорейшего выздоровления; что твое письмо заключало в себе редкий подарок и было тоже своего рода романом по целому миру высказанных в нем мыслей; особенно фантастическим было для меня твое сообщение о действительном, невымышленном докторе Живаго, существование которого было для меня неведомо.

Крепко целую тебя.

Любящий тебя

Б. П.

23

Дурылин — Пастернаку

10 марта 1953 г. Болшево

*10 марта 1953 г.*

Милый Боря!

Неожиданной весенней ласточкой залетел ко мне твой привет, переданный М. С. Так близко ты от меня, но я не могу навестить тебя: я недавно еще из [больницы?] АН СССР, где мне лечили сердце и дыхание.

От всей души радуюсь, что тебе лучше, что светом и теплом веет от тебя, так сужу по М. С. и ее рассказу о тебе. Целую тебя крепко, обнимаю сердечно. Мой телефон:\*

И[рина] А[лексеевна] шлет тебе искренний привет.

24

Пастернак — Комиссаровой-Дурылиной

15 ноября 1955 г. Переделкино

*15 ноября 1955 г.*

Дорогая Ирина Алексеевна!

Я узнал о смерти Сергея Николаевича с большим опозданием.

Я живу в большом отъединении от города и городского общества; из газет читаю только «Правду» и очень редко; иногда мою подпись ставят под коллективными некрологами и обращениями, а сам я об этом ничего не знаю.

Я очень любил Сережу и в далеком прошлом, а когда закладывались основания нашей будущей жизни, многим

---

\* Пропуск в тексте.

обязан ему. Я любил в нем соединение дарованья, способности до страсти служить и быть верным проявлениям творческого начала со скромностью и трудолюбием, позднее обеспечившими ему его огромные познания. Свой высокий вкус, который не был редкостью в наши молодые годы, он сохранил на протяжении всех последующих лет, полных испытаний.

Мне очень легко и отратно будет присоединить свои воспоминания к составляемым Вами. Но, наверное, еще месяца три или больше я буду занят до крайности и совершенно неопишуемо, точно так же, как в настоящее время.

Я совсем недавно в чернильной рукописи кончил свой роман, вторую книгу, очень большую. Его окончание перебили мне одним театральным предложением<sup>28</sup>. Я на месяц с чем-то отложил работу, не имевши случая перечесть и просмотреть, что я написал. Теперь надо это сделать. Мне не терпится привести это в форму, пригодную для перепечатки на машинке и чтения для друзей, очень немногочисленных. Это живая внутренняя потребность, в которой я не могу отказать себе. Эту возможность можно отвоевать только силой, ценой насильственного разобщения со знакомыми и отказа от переписки и многого другого.

Вот причина, почему и не смогу я участвовать в вечере, о котором Вы пишете. Я нигде не выступаю и по другим соображениям, но сейчас главное препятствие к этому — отсутствие времени и напряженная работа. Так же точно пришлось мне отказаться от выступления на вечере памяти Есенина и от участия в предполагающемся вечере, посвященном Блоку, память которых так же близка и дорога мне, как и Сережина.

Мне очень дорого Ваше письмо. Это нескромно и очень далекие догадки, но мне кажется, что в жизни Сергея Николаевича, истонченной и одухотворенной до хрупкости, Вы были добрым гением, веянием и дуновением радости и здоровья. Как таковой, как большому другу большого человека я и выражаю Вам свое глубокое сочувствие и уважение. Все, что Вы перечисляете в письме, все Ваши замыслы и предположения — прекрасны, дай Вам Бог удачи в них.

Преданный Вам

Б. Пастернак.

Пастернак — Комиссаровой-Дурылиной

1 октября 1958 г. Переделкино

1 октября 1958 г.

Дорогая Ирина Алексеевна (простите, если Вы Александровна, я забыл и не уверен) —

мне хочется похвалить Вас за горячую, деятельную заботу о сохранении в свежести и силе памяти Сергея Николаевича. Я так же тронут и благодарю Вас за то, что Вы снова обратились ко мне со своею приятною и лестною просьбой. Я, наверное, напишу что-нибудь о С[ергее] Н[иколаевиче]. Я не столько обещаю Вам это, сколько сам этого хочу и в это верю. Но, наверное, я примусь за это не раньше весны, если доживу. Меня отвлекает от чего бы то ни было радостный, счастливый недосуг, который создает мне переписка на трех иностранных языках с читателями и разными лицами, пишущими мне по поводу романа «Докт[ор] Живаго», но когда-нибудь этот угар и праздник кончится, и тогда в числе серьезных трудов и работ, к которым я вернусь, будут на первом месте те несколько живых страниц, посвященных С[ергею] Н[иколаевичу] годам в десятых, которые мне уже и сейчас заманчиво рисуются.

Будьте здоровы.

Ваш Б. Пастернак.

Не беспокойтесь, пожалуйста, о состоянии и сохранности моих писем и сверх того попутного и минутного интереса, который может представить для Вас их использование, совсем не думайте о них. Я знаю, Вы не поверите, но у меня нет ничего похожего на архив или библиотеку, или что-нибудь подобное, все пропадало при переездах и семейных перемещениях, а черновики, остававшиеся от больших работ, я, по изготовлении их беловиков, уничтожал. Даже то, чем я дорожил и что старался беречь (как, например, письма родителей или Мар[ины] Цветаевой) — пропадали. Конечно, письма С[ергея] Н[иколаевича] ко мне где-то есть в какой-нибудь из забытых корзин, но где? — у меня никогда нет ни минуты времени все это разобрать и привести в порядок.

#### Примечания

<sup>1</sup> Копия письма в дневнике Дурылина предварена следующей записью: «1 ноября по н[овому] с[тилю] я написал Боре. Выписал начала Звягинцевой и Виноградова (об упоминании Дурылина в «Охранной грамоте») и пишу дальше».

<sup>2</sup> Пастернак Б. Избранные стихи. М: Узел. 1926.

<sup>3</sup> Стихотворение было записано С. Н. Дурылиным в дневник в мае 1928 г.

<sup>4</sup> В квартире Пастернаков в помещении Училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой улице.

<sup>5</sup> «Книга часов» — сборник стихотворений Р.-М. Рильке в переводе Ю. П. Анисимова. (Рильке Р. М. Книга часов. Ч. 1. М., 1913).

<sup>6</sup> Письмо Н. К. Метнера скопировано Дурылиным в своем дневнике.

<sup>7</sup> Кроме «Охранной грамоты» зимой 1930/31 г. был окончен роман в стихах «Спекторский».

<sup>8</sup> Дурылин С. Н. Сибирь в творчестве В. И. Сурикова. М., 1930.

<sup>9</sup> Дурылин С. Н. Василий Иванович Качалов. М.; Л.: Искусство, 1944.

<sup>10</sup> «Гамлет» в переводе Пастернака во МХАТе поставлен не был.

<sup>11</sup> Петр Иванович Чагин был в то время директором Гослитиздата.

<sup>12</sup> Ренн К.-Л. Шекспир в переводах Пастернака//Британский союзник. 1945. № 22.

<sup>13</sup> Екатерина Александровна Крашенинникова, Ирина Ивановна Софроничья, Ольга Николаевна Сетницкая.

<sup>14</sup> Редактором «Литературной газеты» в 1945 г. был А. А. Сурков. Он же автор разносной статьи «О поэзии Б. Пастернака» (Культура и жизнь. 1947. 21 марта).

<sup>15</sup> Пастернак написал рецензию на «Избранное» А. А. Ахматовой 1943 г.

<sup>16</sup> Морозов М. М. Шекспир в переводе Бориса Пастернака//Театр. М.: ВТО, 1944.

<sup>17</sup> Дурылин С. Н. Нестеров-портретист. М.; Л.: Искусство, 1949.

<sup>18</sup> Критик Евгения Ивановна Ковальчик была заместителем редактора «Литературной газеты» по разделу литературы и искусства.

<sup>19</sup> Пастернак Б. Л. Избранные стихи и поэмы. М., 1945.

<sup>20</sup> Рид Херберт — английский поэт, критик, искусствовед.

<sup>21</sup> Стихотворение «Памяти Марины Цветаевой».

<sup>22</sup> Вероятно, лист с дарственной надписью Пастернака был вырван из посланной книги. Пастернак сопроводил повторную присылку книги с дарственной надписью следующей запиской: «Пустяковая надпись, не стоящая восстановления. Но странно, не правда ли? Вероятно, «энкавидимка», как говаривал покойный Б. Корнилов. Целую тебя. Твой Б.»

<sup>23</sup> Статья «Шопен» была опубликована в № 15—16 журнала «Ленинград» за 1945 год.

<sup>24</sup> У Пушкина: «И свысока взирал на жизнь».

<sup>25</sup> Неточная цитата из стихотворения А. А. Фета. «А. Л. Бржеской» («Далекий друг, пойми мои рыдания...»).

<sup>26</sup> М. М. Морозов, шекспировед (см. примеч. 16).

<sup>27</sup> Александр Николаевич Глумов — писатель, актер, музыковед.

<sup>28</sup> Перевод «Марии Стюарт» Шиллера для МХАТа.